

Мария Головановская

Почтальон

*Памяти БР.*

С почтальоном – особенно. Видишь: подъезжает на велосипеде к калитке, стучит костяшкой среднего пальца по промокшей зеленоватой центральной ее планке, не дожидаясь разрешения войти или просто звука голоса, означающего что угодно, скрипит несмазанными петлями, неспешно, в какомто полутанце ступает по каменным серым плитам, которыми выложена тропинка к дому, на калитке надпись: "Осторожно! Злая собака!" – но он знает, что здесь давно уже нет никакой собаки, облезлый черный кобель сдох еще прошлой весной, и его зеленая с матовой черной крышей конура уже около года пустует, он медленно, как будто даже устало поднимается по ступенькам крыльца – их всего тричетыре, не больше, – опускает газеты в ящик, прибитый к входной двери, проходит по саду, заглядывает в окна...

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что он не влюблен. Осенью он ходит в какойто скукоженной синей куртке на буроватом искусственном, свалывшемся меху, впереди, на уровне груди – два алюминиевых кольца, мальчишкам объясняют, что эти кольца для того, чтобы прыгать с парашютом, летом, все лето подряд, и июнь, и июль, и август, он ходит в полинялой полосатой то ли майке, то ли тельняшке, проходя по саду, он кашляет, иногда сморкается, бросает окурки на посыпанные галькой дорожки сада, он барабанит в дверь, всякий раз пропихивает в замочную скважину усатое "есть кто?", потом, хлопнув крышкой ящика, уходит, точнее сказать, удаляется, улица, растянутая как фраза, пропадает кудато, и видно, как он все уменьшается и уменьшается, превращаясь наконец в точку на воображаемой линии горизонта. Его тень немного отстает, не поспекает за ним, вытягивается и наподобие гигантской лужи простирается от дома до калитки, и потом он, совсем уже крошечный, поднимается от глаз вверх по двум темным пульсирующим коридорам в мозг, в мастерскую, пахнущую красками, заваленную чистыми и записанными холстами, многие из которых стоят лицом к стене, демонстрируя свои ровные тусклые спины с ярлычками, но коечто еще красуется и ошарашивает прямо с порога: пурпурные объятия, петух в сизой тени, красное око висящего вниз головой кролика и почтальон, еще влажный и пахнущий, со своей вечной газетой, посреди хаоса на растопырившем ноги мольберте, назойливый, приходящий, уходящий, поднимающийся по ступенькам, а ты, как горло холода, боишься посмотреть на него в упор, взглянуть в его карие с белыми недописанными зрачками глаза, не влюблен, постоянен, неизбежен, как звук, как движение, как время.

Мы с тетушкой, вялой, увядшей, надкушенной, коротаем здесь, растягивая до бесконечности, день за днем, месяц за месяцем, выскакивающие друг из друга, как матрешки, в этом чудном доме на фоне волшебных гор, и оторванные листья календаря сродни использованным билетам, день прошел, заплати ч оторви новый билетик. Сколько он стоит, Бог знает.. Тетушка убирает со стола, стряхивает крошки на влажную красную ладонь. "Что думаешь дальше?" – бормочет она. Дальше вперед, дальше назад, пульсирует эхом в голове, дальше в осень, в прошлую, в позапрошлую, осень стоит за окном без летней крикливой вони, с ее вечным неслышным движением, с ее нежным шепотом на чужом языке. "О чем это она?" – недоумевает тетушка, пряча глаза, мы пожимаем плечами и, обнявшись, идем наверх, всегда наверх, в сторону от времени, туда, куда никогда никто не заходит, особенно почтальон с его вечно вымазанными в глине сапогами. Где же он всякий раз бродит, если умудряется так вымазаться до ушей?

Псы. Подобно скандальному принцу датскому, всегда какойнибудь облезлый, оставленный дожидаться у калитки, заводится со своим извечным: можно к вам на колени,

леди? – псы часто следуют за ним, и когда за ним по пятам идет пес, он кажется особенно угрюмым, он никогда не гладит их и не разговаривает с ними, даже головы не поворачивает в их сторону, он привык к ним, как к собственной тени, но мы всегда должны были помнить, что там, за калиткой, ждет пес, обожающий – его, ненавидящий – нас, и пока он расхаживал здесь, по нашему с тетушкой саду, у нас была иллюзия безопасности, хотя какая это безопасность, если в твоём саду бродит чужой? Они никогда не ходили за ним подолгу, эти псы, через неделю, максимум через две, очередной пес отбивался и привязывался другой, так же бессмысленно, как предыдущий, надевшийся на ласку и корм, так же бессмысленно таранившийся на чужих, силясь на лице, на своем шерстистом собачьем лице, изобразить злобу. Осторожно, злая собака – было написано в их трогательных, обращенных на почтальона глазах, и всякий раз это кончалось ничем, пес у калитки начинал скулить, почтальон, злобно выругавшись, убирался восвояси, мы открывали дверь и выходили на воздух.

Время спутывалось, перепутывалось, как волосы, как слова, образуя каждый раз чудовищный колтун, который ни распутать, ни расчесать, только выстричь. С утра стройные ряды часов и минут казались незыблемыми, равными самим себе, отливали медью, оловом в дождь, золотом – когда было солнечно, но к вечеру все становилось неочевидным, сумерки, закат напоминали рассвет, и юный белокурый Феб на пару с девственной нежнейшей Авророй, казалось, примеряли как бы шутя полупьяные маски закатов, начинало даже казаться, что почтальон приходит среди ночи и виновато разводит руками, поскольку здесь еще не выходят ночные газеты, или, наоборот, приходит по несколько раз в день, захламляя ящик номерами одной и той же газеты за одно и то же число. Цифры в каком-то умопомрачительном соитии напознали друг на друга, смешивались, почти вливались, и вдруг из восьмерки начинал безобразно торчать ящеречный хвост девятки, или двойка, облобызавшись с пятеркой, образовывала ущербное, рахитичное восемь. Так или иначе, все это продолжалось до тех пор, пока не появлялся на черном небе красавец месяц, который толстел и округлялся, превращаясь в красавицу луну, или не выпрыгивало однозначно круглое солнышко среднего рода, единственного числа, и тогда абсолютно слепые, глухие и немые электронные часы, прислушивающиеся исключительно к пульсации своей уже изрядно подсевшей батарейки, окончательно пропадали из поля зрения, и само небо указывало – говорить или молчать, держать глаза открытыми или закрытыми.

Тетушка молчалива, беззвучна, и те редкие слова, которые произносит, она словно вынимает из ваты и потом, проговорив их одними губами, осторожно складывает назад в коробку, будто елочные игрушки, в коробку с жесткими краями, предохраняющими содержимое от ударов. Она никогда не заходит ко мне, только по утрам возникает ее темный контур на фоне матового стекла моей двери. В это время я уже никогда не сплю. Именно в это время, по утрам, в голове моей грохочет город с его пылью и хрипотцой, перегруженными помойками, бесконечно ползающей по улице человеческой размазней, истощенным воздухом, разговорами, разговорами, разговорами... Изредка посреди улицы, дома, на фоне ковыляющих мимо окон или автобусного бока вспыхивает вдруг чье-то лицо или спина, улыбка или рука, словно из белого гипса в рисовальном классе, и даже не важно – чьи, не вспомнить – чьи, понимаешь, что только очень знакомые, некогда подробно изученные глазами, но теперь уже снесенные наверх по темным пульсирующим коридорам в мастерскую, и большую часть времени они стоят там, повернутые изображением к стене, лишь иногда в утренние часы они разворачиваются, но совсем ненадолго, потому что если не они, то ты поворачиваешься к ним спиной.

Тебе нужен покой, напоминают улыбающиеся тетушкины глаза, ровное дыхание горячего молока, город больше не придет к тебе, если только однажды тебе не захочется снова его увидеть. Город. Города. Птицы на каменных головах. Парикмахерские и киоски.

Киоскеры, киоскерши, продавцы, почтальоны. Тысячи почтальонов, и только у одного из них знакомое тебе лицо, и только с одним из них, однажды случайно встретившись, никак потом не можешь расстаться, боишься (кого? чего?), думаешь (о ком? о чем?), убегаешь (куда? зачем?). Сюда. Пусто. Только вот газеты еще приходят, естественно, приходят, прибегают, настигают, как псы жертву, или наоборот, возвращаются преданно к своему истинному хозяину. А вот и он, голубчик, не успеваешь даже толком подумать о нем, поймал под локоток зазевавшуюся тетушку и все рассказывает ей что-то о своей толстобрюхой супружнице, попотчевавшей его сегодня и тем и этим, и супцом и квасцом, и как он ее по заду хватил, накушамшись, и как она расхохоталась, что стены задрожали, последние истории, ситцевые, заношенные, потные, чужие.

Вынимаешь из головы кукол. Замурзанного неудачника Пьеро с лицом, грязным от слез, малахольную красотку Мальвину с длинными подрагивающими ресницами, опущенными краешками губ, всегда недовольную, капризную, писклявую, Буратиноумницу, деревянного придурка (кто там еще?), алчного КарабасаБарабаса, отважного Комарика с маленьким фонариком, кота Базилио (ох уж этот Базилио!), рассаживаешь их веером вокруг кровати и в себя прийти не можешь от удивления, что у всех у них твое лицо. И это, и это, и это... неужели я, я, я, а они под твое недоумение, взявшись за руки, пляшут и кланяются тебе, подмигивают твоим же глазом, такие милые, такие дорогие, такие нежные, и сил нет, нарядившись в черное и бархатное, пытаться разорвать их круг, вырваться за его пределы, обращаясь к зрителям с заветным: "Быть или...", к зрителям, позевывающим и равнодушным, или притихшим в темноте у твоих ног. Так вот, вынимаешь из себя тряпичных героев и складываешь их, пока не отвлечет твое внимание какая-нибудь яркая бабочка или заглянувший в окно цветок.

Распорядок дня предельно прост. Утром мы с – тетушкой завтракаем в большой светлой столовой с чудесным гербарием под стеклянной крышкой на тяжелом, черного дерева круглом столе. Потом я в сопровождении тетушкиной тени отправляюсь на прогулку по саду, прохожу мимо клумбы с чудесными желтыми и темнобордовыми розами, огибаю немного странное из серого камня строение; внутри его на печке, которую нужно топить дровами или углем, стоит огромный чан с двумя неподвижными кольцеобразными вздернутыми кверху ручками (зачем они? никто и никогда не сможет его поднять!), здесь когда-то варили белье, но теперь уже, конечно, давно никто не варит, и это место забыто, никто сюда не ходит, нечего здесь делать, как и мысль об аде, душа давно уже терзается от другого, лоб покрывается испариной от совершенно иных картин, которые так и норовят сорваться со стен мастерской, загородить окна, быть все время перед глазами. Пока я гуляю, приходит почтальон, я знаю это точно, тетушка нарочно выпроваживает меня из дома в это время, и я также знаю, что она никогда не пускает его в дом, хотя он, по всему судя, только об этом и думает, только об этом и мечтает. Каждый раз я дохожу до обрыва – почти вертикальный склон, поросший крупным кустарником и деревьями средней величины. Потом иду назад, но уже не мимо розария, а вдоль платановой аллеи, и каждый раз думаю, что стволы платанов похожи на слоновьи ноги, а ветви на бивни и хобот, страсть, страсть, страсть пульсирует в голове, – помнишь? Когда поднят над землей и распят, когда раскинуты руки и все тело в такой позе, будто летишь, а на самом деле пригвожден, и кровь сочится из ладоней, и ни движения, ни слова – боль, и каждый раз воскресает, упуская из груди голубя, утыкаясь носом в серую пыль, которую простые люди носят на ногах... Когда я возвращаюсь, мы с тетушкой завтракаем второй раз, она пьет кофе из толстостенной белой чашки, я ем предварительно очищенные и нарезанные тетушкой яблоки, но никогда не беру ло мики руками, а натыкаю их вилок и так, как будто это кар в флина или кусок бифштекса. Тетушка всегда таким особым кивком головы спрашивает: ну, как прогулка? – и я отвечаю ей улыбкой: красиво! – затем до обеда мы сидим на веранде, тетушка прикрывает

мне ноги синим пледом в черную крупную клетку, читает газеты, пишет комуто письма, пристально всматриваясь мне в лицо, молчит, улыбается, когда я всякий раз сбрасываю упавшую на меня уже пожелтевшую сосновую иголку, мы сидим так до обеда, неподвижные, среди бесконечной птичьей трепотни, копошны, среди деревьев, азартно играющих в карты последними листьями, интересно, когда тетушка успевает приготовить обед? В доме никогда нет запахов пищи, и даже кофе, который она пьет, кажется лишенным всякого запаха, я перебираюсь за стол с гербарием, и мы долго обедаем, делаемся плотными и тяжелыми, чтобы потом, уйдя наверх, неслышно опуститься на дно, укрыться с головой снами, покорно принимая всю их непредсказуемость, попадаясь в их "ежовые рукавицы или бархатные перчатки. Я всегда просыпаюсь от голосов, доносящихся снизу. Это к тетушке приходят соседки. Они бойко обсуждают варенья и соленья, смотрят на просвет банки с клубничным, малиновым, абрикосовым, вишневым вареньем, в саду растут и клубника, и малина, и абрикосы, они смотрят на просвет, сравнивая оттенки сиропазотот темноват – переварено, здесь сахару переложено – засахарится, они рассматривают, пристально сощутив глаза, как алхимики, как добыватели чертова камня, и воздух от их разговоров делается сладким и липким, и медь начищенных, висящих вдоль стены над плитой кастрюль и тазов начинает гореть, раскаляя воздух, а потом они садятся за чай и начинают пробовать, уже не глазом, не обонянием, но самим вкусом, который не обманешь, я тоже часто присоединяюсь к ним, но не пью чая и не дегустирую варенья, а просто пытаюсь отогреться рядом с их разгоряченными лицами.

Деньги. Растворяются в воде, как сахар, делая ее сладкой. Красные, синие, желтые, зеленые, как осенние листья, осенний урожай после буйного цветения, наклеиваются, как этикетки на дни, на слова, на выраженья лиц. Может быть, нужно ему заплатить как следует, чтобы он больше не ходил? Может быть, он и ходит поэтому? Или наоборот, может быть, он потому и ходит, что каждый что-нибудь дает ему за его услуги? Может быть, и тетушка?

Страх. Километры крутого подъема к его вершине, к зениту, целящемся тебе в макушку. Влечет, манит, залепив глаза пластырем, думай, лови в голове мух, его, страха, сияющий шлейф, его сверкающее острие. Страх. Бежишь, но стоишь на месте. Только пустое мелькание собственных ног, а пейзаж на картинке – тот же. Ты же все знаешь, пульсирует в голове, вспомни: тихие разговоры за закрытой перед твоим носом дверью, осторожные глаза врачей, их чистые, с ровными ногтями пальцы, вежливость, доходящая до абсурда, твердое намерение причинить боль. Вспомни: один круг, второй, третий, жадные объятия конца и начала, начала и конца, чего же бояться, если тебе уже известно все? Почтальона? Новости, которую он однажды принесет тебе? Свежей газеты с твоим лицом на первой полосе? Чего? Какие вообще на этом свете бывают новости?!

И все-таки они затеяли свару, эти псы. Как назло, в этот день мне что-то помешало уйти на прогулку, то ли туман был слишком густым, настолько густым, что вытянутая вперед рука моментально лишалась кисти, то ли дождь лил, соединяя прозрачными струями верх и низ, крышу и яркую гальку, дождь вперемешку с листьями и иголками, шишками и одинокими вороньими выкриками. И еще этот разноголосый лай у калитки, рычание и визг укушенного, они собрались все, может быть, даже для того, чтобы свести с ним, с почтальоном, счеты, излить свою обиду, вцепившись зубами в ляжку или исцарапав когтями лицо, но его так долго не – было, что они передрались сами, не дождалась, и ясно почему: снизу доносился хриплый басок, кашель курильщика – он прорвался, тетушка впустила его. Тетушка в этот день была както поособенному молчалива, ни губы ее, ни глаза ни о чем не говорили мне и ничего не спрашивали, она была настолько рассеянна, что даже не заметила моего присутствия в доме, и когда почтальон постучал своей продрогшей и влажной ладонью в дверь, она, поколебавшись минуту, открыла. Он, вероятно, быстро прошмыгнул внутрь, в переднюю, и тут же заговорил, запел, может быть, подмигнул даже, он проторчал в

передней добрую четверть часа, насыщая воздух историями о соседях и продавцах, и, видимо, только тетушкин нетерпеливый жест заставил его наконец достать газету и нехотя удалиться. Когда он вышел за калитку, псы даже не заметили его. Тетушка с испугом посмотрела на два мокрых следа, оставшихся от его огромных ног, казалось, что вместе с этими следами остались и сами ноги, прямо на пороге в прихожей, эдакое модернистское изваяние или, наоборот, осколок древней статуи – косолапые ступни и выпирающие вперед коленки, а куда подевался торс и был ли он вообще – неизвестно.

Так эти ноги и остались стоять, загораживая проход, не давая выйти. Собственно, и выходитьто уже не хотелось, дом начинал казаться огромным, и обойти его весь становилось почти непосильным делом. Налево от прихожей – светлая, в белом кафеле кухня. На ровном белом подоконнике в литровой банке с водой – зелень: укроп и петрушка. Дальше, по коридору направо – столовая с двумя большими окнами в одной стене и двумя в другой. Свет из этих окон делает стеклянную поверхность стола зеркалкой, и, чтобы увидеть чудесный гербарий, распластанную, немного обесцветившуюся розу под стеклом, нужно подойти совсем близко, склониться над ним, вписав и линии своего контура в чудесное переплетение стеблей и лепестков. Из столовой – дверь в большую комнату с двумя кроватями посередине, напротив вечно сияющего окна – деревянный, темного дерева стол и четыре стула, у стены – пустой платяной шкаф. В этой комнате никто не живет, и поэтому дверь в нее всегда открыта. Коридор упирается в темную комнату, в которой хранятся садовые инструменты, грабли, тяпки, лопаты, а также удобрения, порошки и другие моющие средства, поэтому в этой комнате особенный такой запах – наполовину медицинский, наполовину парфюмерный. Четыре ступеньки вниз – ванная и дверь в сад. Чтобы не было сквозняков, тетушка всегда запирает ее, но через квадратное окно, находящееся посреди двери, виден кусок сада: клумба с бордовыми розами, земляничная поляна и угол серого домика, пологий склон горы, поросший лесом. Ванная восхитительна. Свет, запах, звук. Звук текущей воды, аромат мыла, зеркало, удваивающее пространство. Зеркало, зеркало, зеркало, хотеть, иметь, владеть, разъезжать на коне, покрытом шитой золотом попоной, и видеть только бритые затылки и согбенные спины. Пот, вонь, ароматы, гадания по руке. Или, наоборот, сладко прижимать к груди чьюто зловонную, в шелковой туфле ногу, закрывая глаза, мурлыкать покотиному, пытаться угадать в равнодушном взгляде...

Почтальон сидит в столовой, шумно пьет чай, обменивается с тетушкой подмигиваниями, пряными словечками, она все подкладывает ему в розеточку вареньица, и он, с кончиками усов в рубиновых каплях, застывает, блаженно сощутив глаза, лицо его и руки отливают бронзой, и тетушка, подевичьи хихикая, покрывается румянцем, оттопыривает мизинчик. Так он и остался сидеть там, забыв, вероятно, об ужине, который ждет его дома, макароны с мясом уже давно остыли, прилипли к тарелке, покрылись буроватыми кружочками затвердевшего жира Музыка, музыка, музыка, пульсирует в голове, извлекать ее руками из насекомообразного тела скрипки, блеснуть лаковыми ботинками, или извлекать ее губами из жесткого металлического ствола, при малейшей, ничтожнейшей паузе стараться облизать иссохшим кончиком языка потрескавшуюся верхнюю губу, кланяться! теряя равновесие, пытаться удержаться, ввинчивая каблуки в пол, неуклюже обнимать деревянную теткуконтрабасиху, и все по чужим нотам, по чужим – даже если обводишь невидимые контуры дирижерской палочкой, даже если вдыхаешь в нотные, зависшие вверх ногами комариные тельца охи, стоны и жужжание, все равно по чужим – даже если забываешь об этом, и зал, прокашлявшийся в паузах между частями и набившийся бутербродами в антрактах, кричит и неистовствует, забрасывая тебя цветами... Но даже если и так, что тогда?

Комната моя огромна От раскалившейся настольной лампы вспотело все. лицо, руки, стены, лежащие на тумбочке газеты. За мутным оконным стеклом – капли вечера, внизу –

разговоры, шум посуды, вот и тетушкины шаги, она поднимается по лестнице вверх, там она уже все вымыла, все убрала, я узнаю ее легкие шаги, неслышно поворачивается ручка двери, на мгновение поймав луч света от лампы и полоснув по глазам, дверь открывается, тетушка тает на пороге, яркий свет разрезает комнату, делит все на две половины, на две черные половины, размозженные полоской света, вот слышатся и его, почтальона, шаги, тяжелые, командорские, вот на пороге и его голос, и рука тянется для пожатия:

– Что же ты прячешься, глупыш, разве ты не знаешь, какую новость я приносил тебе все эти дни?

– Ухожу, ухожу, – киваю я рукой, машу головой и медленно начинаю двигаться от своего контура вправо.